

кер, — конечно, не будет таким верным зеркалом времени Ярослава Тверского, каким бывают поэмы Скотта различных времен стариной Шотландии; надеюсь, однако же, что в ней найдется кое-что истинно русское. В моем положении трудно, чтоб не сказать невозможно, быть живописцем минувших нравов и обычаев: все я должен почерпать из одной памяти; у меня ровно нет никаких источников».<sup>55</sup>

Однако, если раздумья над будущей поэмой протекали параллельно с изучением поэзии Скотта, то к работе над ней поэт приступил уже тогда, когда углубился в чтение Крабба, и, отмечая 19 ноября 1832 г. окончание первой песни, он как бы с удивлением писал в дневнике: «Я ныне заметил, что Краббе, а не Скотт, вероятно, окажет самое большое влияние на слог и вообще способ изложения моей поэмы: по крайней мере это так в первой части».<sup>56</sup>

Такое заявление поэта может показаться неожиданным, поскольку «Юрий и Ксения» с псевдоисторическим сюжетом, князьями и боярами, языческой ведьмой и православным пустынником весьма далеко отстоит от реалистической бытописательной поэзии Крабба. Но мы не вправе игнорировать авторское признание. Попробуем в нем разобраться.

Как показал В. М. Жирмунский, особенности жанра романтической поэмы в России восходят к восточным поэмам Байрона, который, однако, влиял не прямо, а опосредствованно, через Пушкина и отчасти И. Козлова («Чернец»), освоивших применительно к русской поэзии новшества и достижения английского поэта.<sup>57</sup> Лирическая поэма Байрона вобрала в себя завоевания его предшественников — поэтов-романтиков Кольриджа и Скотта.<sup>58</sup> Поэтому Кюхельбекеру, пережившему в юности увлечение байронизмом, поэзия Скотта при всей ее оригинальности не могла казаться чем-то совершенно новым.

Показательно, что, читая поэмы Скотта впервые, он все же не может отделаться от впечатления, что уже читал когда-то нечто подобное. Он наслаждается поэзией Скотта, отыскивает в ней «прекрасные места», но принципиально нового для себя не находит. Более того, он даже обнаруживает, что, еще не зная «Песни последнего менестреля», в своей поэме «Зоровавель» «встретился с Скоттом» «в расположении частей и в характере повествователя».<sup>59</sup> Так могло произойти потому, что поэтика Скотта стала уже составной частью более широкого литературного течения, воспринятого Кюхельбекером.

Иное дело Джордж Крабб (Crabbe, 1754—1832), творчество которого было для Кюхельбекера совершенной новостью. Воспитанный в духе просветительского реализма и рационализма XVIII в., этот поэт оставался верен старым традициям в период господства романтизма и развивал их применительно к новым условиям. Борясь против всякого приукрашивания действительности, против фантастических вымыслов, он посвящал свои поэмы изображению повседневной жизни английских сельских приходов и провинциальных местечек. Его героями были простые заурядные люди. Отличительной чертой его стихотворных повестей был реалистиче-  
ский психологизм.

<sup>55</sup> Литературное наследство, т. 59, стр. 412.

<sup>56</sup> Избранные произведения, т. II, стр. 734.

<sup>57</sup> Пушкинское влияние в поэме об Отроче монастыре отметил сам Кюхельбекер, когда с неудовольствием записал в дневнике: «Перечитывая сегодня поутру начало третьей песни своей поэмы, — я заметил в механизме стихов что-то пушкинское. Люблю и уважаю прекрасный талант Пушкина, но, признаюсь, мне не хотелось быть в числе его подражателей» (Дневник, стр. 88; запись от 17 января 1833 г.).

<sup>58</sup> См.: В. Жирмунский. Байрон и Пушкин, стр. 21—23.

<sup>59</sup> В. К. Кюхельбекер о Вальтере Скотте, стр. 96 (запись от 24 июля 1832 г.)